

Во-вторых, аналогичное возражение может быть выдвинуто со стороны некоторых концепций залога, а именно тех концепций, в которых залогом считается лишь преобразование так называемой «поверхностной структуры» высказывания. С этой точки зрения, к категории залога относятся лишь противопоставления типа *Рабочие строят дом — Дом строится рабочими*. Противопоставления же типа *смешишь — смеяться; источать, точить* 'заставлять течь' — *течь* относятся к категории диатезы, но не залога. И здесь также, если речь идет лишь о терминологическом соглашении (называть «залогом» лишь один тип залоговых противопоставлений и не называть им другой), то с этим можно согласиться. Однако нельзя согласиться с тем, что это и по существу два различных типа отношений. Единство того и другого типа залоговых отношений, хотя в какой-то мере разных, также будет предметом дальнейшего рассмотрения.

С учетом этих возможных возражений, может быть, действительно следовало бы применительно к названному древнейшему классу говорить об «определенном» и «неопределенном» видах как особом звене соответственно «совершенного» и «несовершенного» видов и о «переходно-каузативной» и «непереходной» диатезе как особом звене в категории залога. Тогда поставленную проблему можно сформулировать более конкретно, как вопрос о постоянных корреляциях между «определенным/неопределенным» видом и «переходно-каузативной/непереходной» диатезой в древнейшем слое балто-славянских глаголов. Однако поскольку древнейший слой глагольной лексики составляет часть современных систем балто-славянских языков, то сформулированный вопрос составляет часть общего вопроса об отношениях вида и залога. Таким образом, необходимы общие определения.

2. Предварительные определения вида и диатезы и семиологические отношения между этими категориями

В ряде теорий видов, выдвинутых в начале XX в. (Э. Германн, Г. Якобзон, Н. Ван-Вейк, К. Ван-дер-Хейде, Э. Кошмидер и др.) указывалось, что виды в собственном смысле появляются тогда, когда говорящий получает от системы языка возможность представить любое действие либо как ограниченное каким-либо пределом, либо как неограниченное (вне зависимости от времени, к которому он его относит), и следовательно, получает свободу субъективно характеризовать объективное действие. Эта возможность иллюстрируется, например, русскими парами типа *убить — убивать*. Ср.: «О т е л л о. *Мне хотелось бы у б и в а т ь его девять лет сряду!*» (В. Шекспир. *Отелло*, IV, 1. Перев. П. Вейнберга. М. — Пг., 1923); англ.: *I would have him nine years a-killing*. До тех же пор, пока говорящий в рамках системы языка не имеет форм для выбора, он вынужден представлять всякое действие лишь одним образом, и тогда, смотря по тому, располагает ли это действие чаще к рассмотрению в пределах (например, 'убить', 'выстрелить') или чаще к рассмотрению вне пределов (например, 'дышать', 'стоять'), оно кажется как бы характеризованным объективно, самой своей природой. При этом языковая система, не допускающая свободы видового представления действия, навязывающая какое-либо одно его представление, как раз наиболее произвольна и в наибольшей степени предписывает говорящему априорную для него схему истолкования действительности. В указанных теориях, созданных в то время, когда явление языковой относительности еще не было известно, последний способ видового представления действия казался и назывался «объективным». На том основании, что при этом противопоставлялось «объективное» — «субъективное», и не вникая в то, какое содержание вкладывалось при этом в термин «субъективное», критики этих теорий (ср. некоторые советские работы 1950-х годов) обвиняли их в субъективном идеализме. На самом деле в названных теориях был совершенно правильно подмечен